

ДВА РАССКАЗА

Мазурка

*Памяти Августы Васильевны
и Ивана Дмитриевича Черных*

Однажды в станице Албазинской вместе с группой армейских офицеров (среди них был и казачий в звании подхорунжего), по казенной надобности шедших в низовья Амура, к Хабаровску, оказались молодые поляки, разумеется, из католиков, но принятые на русскую службу — правда, гражданскую, не военную. Поляки эти как бы вняли великости державы, время от времени притеснявшей маленькую и гордую Польшу, и поэтому иронично, но и снисходительно похлопывали по плечу старшего брата. А наши офицеры были тоже молоды, либеральны в духе уже распушенной эпохи (дело было накануне мировой войны), они сочувствовали полякам и даже жалели их.

Христос, единый и всеблагий, привел спутников в дальние края, в станицу Албазинскую, вполне обустроившуюся, с лиственничными домами, с синими куполами церкви, с красивой — на Самсоновском взвозе — лестницей, рубленной еще к приезду цесаревича Николая, теперешнего императора.

Путешественники добрались на Амур через Байкал и Кяхту верхами, хотя могли бы и по железной дороге, но молодость и воспоминания о временах Муравьева и Невельского усадили их в седла, они мчались на косматых монгольских лошадях, били с плеча косуль и птицу, помогали денщикам на стоянках собирать хворост и варить кулеш, ухаживали по пути за скуластыми гуранками. Измочаленные перекладными, но уже сплавом, на барже пришли они в Албазинскую. Стояло парное утро, в обильной росе. Они поднялись по Самсоновской лестнице и огляделись. Станица Албазинская была старинная, семнадцатого столетия, но тогда после горячих схваток с маньчжурами станицу

**Борис
ЧЕРНЫХ**

— родился в 1937 году в Иркутске. Закончил юридический факультет Иркутского университета. Был комсомольским работником, педагогом, журналистом. С 1982 года отбывал срок за антисоветскую агитацию и пропаганду, освобожден в 1988 по «горбачевской амнистии». Прозаик, автор четырех книг — в том числе «Гибель Титаника» и «Озимы». Живет в Благовещенске.

пришлось отдать, а в девятнадцатом трудами и терпением забайкальских казаков удалось восстановить, станица быстро окрепла, похорошела, одомашнилась, по берегу Амура стояли скамьи, грубо рубленные, но оттого удобные. Покойные. Здесь старики собирались, чтобы выкурить козью ножку с терпким самосадам, а по вечерам кучковались парни и девки. Уже и качели стояли с двумя продольными лодками, крашенные и накатистые, в полную высоту лесин.

К тому дню, когда русские офицеры и польские чиновники оказались в Албазинской, во главе станицы третий срок трубил атаманом Василий Яковлевич Самсонов, властный и боевой казак, за китайскую кампанию 1890 года и за японскую 1905-го получивший Георгиевские кресты. Однако когда путешественники по казенной надобности пришли утром в станицу, атамана добудиться не могли — накануне, в Преображение Господне, то есть на Яблочный Спас, тот наотмечался до положения риз. Писарь Яшка Сенотрусов пытался побудить атамана, Василий Яковлевич разлепил глаза, тяжело встал на смутных ногах, обутых в ичиги (сон свалил его внезапно), промычал что-то и упал снова на топчан.

Молодые офицеры и поляки расхохотались, когда писарь доложил им о немощи атамана — между прочим, эта немощь свидетельствовала о том, что берег этот воистину наш и будет нашим вовеки, офицеры пошли в заезжую избу, приказали истопить баню, заказали завтрак. Все было исполнено неукоснительно. Им поднесли из рейнского подвала красного вина, они выпили и уснули богатырским сном. Так что когда смущенный атаман явился пред их очи, они в свой черед не могли поднять разбитых дорогою тел, и атаман пошел домой. Под вечер он зазвал гостей на ужин.

Дом Василия Яковлевича стоял на обрыве, семью окнами к китайской стороне, и был высок, с сухим подом, с широким резным крыльцом. Зеленые перильца обрамляли крыльцо, и цвели белые хризантемы в клумбах, обложенные речным окатышем.

Стол ломился от яств, все оказалось свежее, августовски густое и сочное — овощи, ягоды, самогон хлебный, настоянный на кореньях, рябчики в грибном соусе, калуга маринованная из ледника. Атаман, похожий на сома, встретил гостей чисто выбритым, подтянутым, но без шашки, по-домашнему. Георгиевские кресты и Владимирская медаль тлели на его крепкой груди. А тут вошли в горницу атаманские дочери — Анастасия, Авдотья, Ангелина, Алевтина и юная Дарья, прибежавшая в холщовом сарафане с лютиками по подолу да босиком, по домотканым коврикам. Девушки сели за общий большой стол, словно воспитывались в светской, а не казачьей семье, озорно глядели на офицеров и поляков. Что ж, их отец знал, как загладить утреннюю неловкость, и потому усадил девок за общий стол. А еще он позвал Яшку с тульской гармонией, Яшка слыл мастером брать любую мелодию на слух, сходу,

и перебирал басовые и высокие тона, как хотел, в горячую минуту подпевая мягким баритоном и пристукивая сапожком в пол.

Гости выпили раз и два. Атаман, боясь конфуза, лишь пригубливал. Самогон, похожий цветом и вкусом на коньяк, скоро раззадорил гостей. Наши офицеры и подхорунжий вызвали девушек и станцевали кадрили. Но следом поляки напели Яшке странный легкомысленный мотив, Яшка подхватил и понес, понес мотив через горницу и далее по комнатам большого атаманского дома и за окна, распахнутые настежь — теплынь стояла на дворе.

— Ма-зур-ка! — сказали поляки и позвали Дарью и Ангелину на танец. Круглобедрая Ангелина, девушка на выданье, под окнами ждал ее жених, вела себя томно, она стеснялась этого чужого, стремительного танца. Зато Даша — она осталась и в танце босиком — сразу уловила ритм и скорость мазурки и прокричала:

— Яша, быстрее, да быстрее же, зателепа! — отец рассмеялся, наши офицеры тоже рассмеялись. А поляки, меняясь, танцевали полчаса и далее, до упаду. Атаман, любуясь младшей дочерью, незаметно выпил серебряную стопу самогона, крепость не взяла его, но в висках зашумело, Василий Яковлевич встал, вышел и сделал два пристойных па, но где же угнаться было ему за юной Дашей. А поляки расстроено мигали длинными глазами и отдувались, потом что-то друг другу изнеможенно прокричали. «Эта девушка истинная мазовецкая полячка!» — вот что прокричали они и без сил опустились на пол, им поднесли холодного клюквенного сока, зубы ломило, но они выпили до дна.

— О, Матка Боска! — простонали они.

— Как тебя зовут? — спросил Дарью юный подхорунжий с добротным славянским именем Микула, из яицких казаков, но подавший на перевод в амурские.

— Нас зовут Дарья Васильевна, — отвечала Даша улыбочиво, давая понять, что на «ты» не принято обращаться к девушке.

Подхорунжий понял намек.

— Вы не Дарья Васильевна, вы — Мазурка! — воскликнул Микула, расправил широкие плечи и отозвал к окну атамана.

— Василий Яковлевич, есть ли жених у Мазурки?

Вопрос не застал отца врасплох.

— У всех дочерей есть женихи, а у Даши сразу три поклонника, — с достоинством и совершенно правдиво отвечал атаман.

Микула потемнел лицом, молча ушел в заезжую избу. Но сначала он дерзко взял Дашину тонкую с китайским браслетом руку и поцеловал. Поляки прицокнули языками.

Назавтра с первыми петухами путешественники погрузились на баржу. В последний момент к берегу подбежала Даша, намочила в реке и бросила Микуле батистовый платок:

— Не забывай Мазурку! — выкрикнула она озорно, смотрела вслед уходящей медленно на фарватер барже. А с обрыва смотрел на Дашу юноша, еще мальчик, черноглазый и строгий, и сердце у мальчика опало, он любил Дашу с отроческих, а может быть — с младенческих лет. «И я никому тебя не отдам», — прошептал мальчик. «Пойдем, Даша. Я никому не отдам тебя», — сказал он, спустившись к воде, и больно стиснул Даше плечо.

И сбылось, не отдал, хотя она долго отбрыкивалась. В разгар гражданской уособицы их успели повенчать. Тут остатки гамовского мятежа расходились и расползлись по Амуру, в станицу Албазинскую неожиданно явился крохотный отряд, потерзанный в боях, во главе его оказался сотник Микула.

Микула постучался в дом атамана, теперь бывшего. Василий Яковлевич впустил казаков в дом, накормил и напоил, но спать не уложил, потому что красные шли по пятам, в любую минуту можно было ждать их вторжения в станицу Албазинскую.

— Куда ж вы теперь, сынки? — дрогнувшим голосом спросил старый атаман.

— За кордон, отец, — молвил Микула, — теперь нам не осталось на родине места. Уйдем к Харбину и осядем. И может быть, когда-нибудь вернемся. Но дай ты мне, Василий Яковлевич, посмотреть на Мазурку, одним глазом, прощально.

— Поздно, Микула, она обвенчана.

— Глянуть — и только, — сердечно просил сотник.

Мазурку позвали и оставили на минуту с Микулой.

— Вот твой сиреневый платок, Мазурка, — сотник из-за борта френча достал дряхлый лоскут.

Но Мазурка не дрогнула: «Ты опоздал, дружок. Прощай».

Микула приобнял Мазурку, с влагою во взоре выбежал на резное крыльцо: «В седла, ребята!».

Снова Мазурка стояла у кромки воды, и снова с обрыва смотрел на Мазурку уже не мальчик, а муж, и душа его трепетала.

— Пойдем домой, Ленюшка, — попросила Мазурка, — дома я что-то скажу тебе, ты заплачешь от счастья.

Они пришли к дому, поднялись в горницу. Там Мазурка положила Ленюшкину ладонь на свой поджарый живот: «Слушай» — Ленюшка услышал, как из Мазуркиного живота кто-то постучал настырно в его ладонь. «Твой мальчик, — смеясь, сказала Мазурка. — А после я рожу тебе еще мальчиков, они переживут бордовых, тогда атаманы снова придут на Амур».

Она и правда скоро родила Ленюшке двух сыновей и двух девочек. В трудах они поднимали их, пели им старинные песни, а новых не пели.

Но в двадцать девятом году взяли отца, Василия Яковлевича. Сначала — нет, не взяли, а потребовали, чтобы Василий Яковлевич не носил

на казачьем чекмене Георгиевские кресты. «Да я получил их, защищая Отечество». — «Нет, ты защищал царский режим». — «Нет, на сопках Маньчжурии я защищал родину». — «Заткнись, старый! — приказали ему, — и иди за крестами».

Василий Савинов ушел домой, снял с чекмена кресты, позвал дочерей и зятьев к берегу, там на их глазах забросил кресты в темную амурскую волну.

И тотчас атамана взяли, заломив руки, увезли. Куда увезли, Мазурка так никогда и не узнала.

Но взяли и Ленюшку. Мазурка кинулась к пограничникам тигрицей, отбила мужа, тогда схватили и Мазурку, на розвальнях в крещенские морозы доставили в Рухлово, в пересыльной тюрьме разорвали их объятия, нагайкой, исполосовав, выгнали Мазурку на улицу, Она прискоком бежала по холодной дороге в станицу Албазинскую к детям и молила Бога за мужа и за детей.

Через полгода пришло письмо от мужа, из дальней дали. «Мы расконвоированы, — писал Ленюшка, — потому как уйти отсюда невозможно, болота и тайга, зимой дорога ледовая, а летом — два парохода толкут воду в ступе. Пришли фотокарточку Гоши и Кеши, Ани и Лизы».

«Пришлю живые образа деточек наших, — отвечала Мазурка двойным слогом, не сразу уловленным Ленюшкой. — Потерпи, тятя».

В канун колхозной оккупации, не дожидаясь описи имущества, Мазурка продала отцов дом и скотину заезжему геологу, собрала мальчиков и девочек в дорогу. Увязала под марлю в корзину десять куриц, взяла пшена. Она знала, что делала. На перронах до Красноярска она станет менять живых кур на ту еду, что будут бабы выносить к поездам.

В Красноярске Мазурка тайком пересчитала деньги, оставила на вокзале за старшего Гошу, приказала в плетенке оберечь трех исхудавших в дороге куриц и побежала на базар разведать, можно ли купить лошадь и розвальни с попоной.

Читатель уже догадывается, что задумала Мазурка. Она задумала по Енисею, скованному льдом, спуститься туда, к Полярному кругу, и пусть князь Турухан посмеет не допустить ее к ссыльному Ленюшке.

На Красноярской толкучке, опять же в канун обморочной колхозной описи, живности оказалось полно. Мазурка без удержу бродила между саней, вдыхала родные запахи конского пота и мочи, шупала копыта, заглядывала в пасти лошадям. О, в лошадях она разбиралась! Стыдно подумать, она и сейчас, мать четверых детей, смогла бы не только верхом, но и стоя на крупе босыми ногами, проскакать версту. «Погода с вихрем» — не зря звал ее отец. Бог не дал отцу сыновей, зато одарил его Мазуркой... И вот стоит она посреди шумного майдана. Коровы режут, козы блеют, лошади ржут, и тоскуют мужики и женщины, остатками свободы похмеляясь в санях.

— Тебе чего надобно, молодка?— спросил Мазурку осевшим голосом мужик.— Почто не бабьей заботой живешь, лошадям копыта метишь?

— Я с Амура, иду к своему на поселение.

— А где он у тебя, родимая?

— Под князем Туруханом.

— Ого, у Холодного круга. А с кем ты туда стопы правишь? Там нынче ночь, глаз коли.

— Два сынка да две дочки со мной. Старшему семь лет, а младшей три годика. Погодки.

— Лихая! Невтерпеж, да?

— Деточкам неветерпеж, по тяте тоскуют. Да и я тоскую. И он, само собой, тоскует тоже.

— А зовут тебя как?

— Мазурка,— неожиданно призналась она полузабытым именем.

Мужик печально всмотрелся в ее лицо, за семь суток пути убежавшее с опары.

— Скоро и я там окажусь,— сказал мужик.— Вишь, распродаю хозяйство. Но успею ли уйти в Казахстан иль куда дальше, не уверен. Бери моего мерина, довезет. За полцены отдам. Зовут его Гринько. Ох, и поработали мы последние годы, на славу. Да славу отнимают у нас. Не дают пожить спокойно.

— И не дадут,— подтвердила Мазурка.— Их задача потравить нас и на потраве править слабыми. Но я хочу оберечь мальчиков, глядишь, доживут они до новой воли и поднимутся.

— Ты, однако, бравая женщина. Забирай Гринько и не поминай лихом средняка Копылова,— мужик обнял мерина за гриву, постоял минуту, взял червонцы, не считая заткнул за борт кожуха, и пошел, пошел вбок, чуть припадая на ногу, оглянулся, тряхнул отчаянно головой и исчез.

Мазурка стоймя натянула вожжи и, раздувая ноздри, погнала Гринько к вокзалу. На вокзале она застала безумную сцену. Деточки ее, истомленные дорогой, не уберегли плетенку с курицами, плетенку опрокинули, птицы вывалились и, ополоумев, понеслись по залу ожидания, шпана кинулась их ловить. Деточки сбились в куток, дрожа. Плакала на коленях у Гоши махонькая Лиза.

Она подхватила деточек, выволокла на привокзальную площадь, забросила в сани, они помчались искать пристанища. И пока они неслись по выстуженным красноярским улицам, Мазурка, уняв сердце, смеялась вокзальному переполоху.

Ночью, уgomонив ребят в Крестьянской избе, она промысливала тысячеверстный путь. Когда-то довелось ей идти с обозом на Благовещенск по зимнику, но тогда рядом были свои, игнашинские и албазинские, и Ленюшка был рядом, и та зимняя дорога показалась праздником.

На биваках казаки палили костры, жарились на вертелах бараньи туши, обливаясь жиром, ели, запивая затураном. Боже, как счастливо горел Ленюшка, вырвавшись с Мазуркой на волю, первенцев препоручив старикам. И Мазурка была счастлива, она обхватывала под тулупом Ленюшку и ласкала на ночных стоянках.

Теперь предстояло суровое испытание. Если не будет обоза в низовья, она пойдет одна. А день короток, и мерин не первой молодости, а если собьет подковы (на ледовой дороге это запросто) — тут-то они и закукуют. И, говорят, снова начали гулять лихие люди, постреливать и обирать народ.

Под утро она вздремнула, припав лицом к Гоше, от него припахивало посконным, албазинским. Но очнувшись, она со страхом суеверным обнаружила, что младшенькая стала квелой. «Что с тобой, Лизавета?» — она губами коснулась Лизиного лба и ощутила жар, поднимающийся изнутри.

Мазурка кинулась на подворье, запрягла Гринько, помчалась окраиной. «Знахарку надобно!» — выкрикивала она, но никто не решился назвать ей имя знахарки. Мазурка постучалась к платному доктору, горячо запричитала: «Доченька занемогла, жар пошел, спасите девоньку». Доктор дал снадобья, но ехать в Крестьянский дом отказался. «В этой клоаке заразы хватает», — признался. Был ли он прав? Нет. В тридцатом году Крестьянские дома были еще крепкими домами, там еще теплилась трезвая жизнь, сорванная позже с полозьев, там еще горели лампадки по углам и мерцали последние лики угодников.

Вернувшись, она достала образок Албазинской Божьей Матери, поставила детей на колени и молилась сама, да видно запоздали они с молитвой — Лиза отвергала снадобья с тихой улыбкой. «Я хочу домой, к бабеньке», — шептала девочка. «А тятя? Мы к тятю должны добратся». — «К бабеньке хочу», — просила Лизавета и с мольбой о бабеньке погасла.

Мазурка положила Лизу в шубейке посреди саней, усадила детей рядом и закружила по глухим улицам, отыскивая погост. Лиза быстро остыла, легкая и счастливая досада высветилась на бледном личике. Наконец отыскали они на западной окраине города неухоженное кладбище, со множеством свежих холмиков, по всему видно было, шел вселенский мор. Кладбищенский сторож проникся, отыскал взрослую домовину. С хладными лицами Мазурка и дети опустили Лизу в чужую, взрослую же, могилу, забросали мерзлыми комьями. В тот же час Мазурка рванулась из Красноярска к Енисею и погнала Гринько по зимнику. Потрясенные дети сидели, нахохлившись. Заметала след поземка.

Они добрались до первого села, их приютила одинокая старуха, в избе было тепло. Мальчики и Аня отогрелись и уснули, разметавшись на полу.

Мазурка опять за полночь лежала с открытыми глазами, в окно лезла стылая луна, дети посапывали, и она забылась неверным сном. Утром, увидев мокрые глаза у Гоши, никснула: «А ну, казак, подыми лицо, настятя ждет».

Испив горячего чаю с топленным молоком, они выскочили на ледовую тропу и помчались следом за двумя кошевами, и шли, пока не стали промерзать. Тогда она приказала детям сойти с саней и, взявшись за облучок, бежать рядом, и сама бежала.

В Подкаменной Тунгуске она взяла передых у богатых хозяев, намереваясь щедро заплатить за постой, рассчитав, что денег хватит, кажется. Хозяин, сухой чалдон, смотрел на Мазурку всепонимающим взором. Она исповедалась: «К тятю бежим, тоска поедом ест».

— Не надо тосковать, голубушка, — молвил чалдон. — Надо радоваться близкой встрече с батькой.

— Дочку не довезла, похоронила в дороге, — вздохнув, призналась она.

— Довези этих. И не горюй. Бог дал. Бог взял.

Хозяева отказались от Мазуркиных денег, снабдили беглецов старыми овчинами и домашними припасами, даже водки дали в березовом туесе.

Хозяин подковал Гринько и похвалил Мазурку:

— Молодчина, выносливого конюшка выбрала. Да вот беда, волки балуют на Енисее, но я подарю вам песика, всё веселее с песиком пойдете. А ежели волки начнут доставать, жгите соломенные жгуты.

Мазурка обняла хозяев, и они снова сошли с берега на лед.

(Когда четыре года спустя они, с тятей уже, шли назад — им разрешили вернуться, но не в станицу Албазинскую, а в Урийск, — Мазурке страстно хотелось повидать добрых богатеев; они отыскали дом, дом стоял с пустыми глазницами окон, обгоревший. «Разорили Покидовых, — сказали соседи. — Обобрали до нитки, ушли они в леса и сгинули».)

Дважды Мазурка ночевала с детьми на пустынном берегу, обобрав сушняк для неугасимого костра, лаечка подавала голос на дальнее волчье завывание. Мазурка отхлебывала по глотку из туеса и детям велела не брезговать крепким напитком, в кипяток добавляла ложку-две, и Бог миловал.

Лаечка привязалась к ребятам, ребята повеселели, исхудали, но взнеслись духом, у костра гоношились, ели сноровисто, делились с собачкой. Эх, мудрый оказался богатеи из Подкаменной Тунгуски, лаечки не пожалел.

В версте от Туруханска, завидев огни поселка, она из проруби умыла лица ребятишкам и дала каждому ладонью под зад: «Какие же вы у нас с тятей лихие!»

Она не забыла и себе омыть задубевшее лицо, сняла полушалок, причесала волосы у осколка зеркала.

Они степенно въехали в поселок, отыскивали дальний барак, комнату и кухню в котором снимал Ленюшка. Руки у Мазурки подрагивали, когда она вязала у прясла Гринька, и торкнулась, впереди подгоняя детишек в тепло. У Ленюшки гостевал сосед, подперев кулаком многодумное лицо, он сумерничал с тятьей.

— Ты к кому, тетка? — не признав своих, спросил Ленюшка, голос его, отметила Мазурка, был слаб.

Онемев, они стояли перед отцом. Теплилась восковая свеча, бросая тени по углам. Ленюшка взял свечу, подошел к ним, всмотрелся и — рухнул на колени: «Детушки мои...» Свеча погасла, гость, нащупав спички, возжег свечу. Пораженный явлением малых и матери ссыльно-му отцу, сосед поперхнулся, ушел за порог, скоро вернулся, положил большой кус сала и мешочек с мукой и опять, с подернутым лицом, удалился.

— Лизу не довезла, — сразу призналась Мазурка. — Кори и бей меня, тятя.

Ленюшка притиснул Мазурку к тощей груди. Потрескивали в печи дрова.

Опомнившись, Ленюшка пошел на улицу, ввел Гринька под дровяной навес, задал овса. Они, прижавшись, снова молча сидели в тишине.

Кто-то поскребся в дверь.

— Да это же Цыганок! — закричал Гоша, они впустили лаечку в дом, ребята наперебой стали рассказывать отцу, как одарили их в Тунгуске собакой. А Мазурка, вдруг всхлипнув, сказала: «Вот Лизонька наша», — и обняла собачку.

Опять, онемев, они слушали за окном ветер. «Пуржит, к непогоде, — сказал отец. — Придется занести побольше дров. Гоша, Кеша, пошли».

Он взял «летучую мышь», запалил фитиль, мужчины налегке, в шапках, выскочили под метельный ветер.

— Аннушка, пойди ко мне, — попросила Мазурка. — Ты все молчишь да молчишь, умничка моя, единственная. Люби тятю. Вот мы и добрались к нашему тятю. Ну, тут жить можно. Комнатка уютная, полки, вишь, сколотил, печь не дымит. Че еще надо гуранам?* В Албазинской поначалу лише было.

Отец и сыновья принесли по две вязанки крупных поленьев.

— Теперь тылы прикрыли, — сказал отец. — А что выюга, так и слава Тебе, на работу не погонют, побудем вместе денек-два.

— Ой! — вскричала Мазурка. — Тятя, тятя, у нас же есть заветный туесок! Святая водица горло дерет, да зато сердце греет, простуду гонит.

— А чесноку не привезли? — робко спросил Ленюшка. — Цинга явилась.

* Че еще надо гуранам? — местная поговорка. Гуранами называют амурских казаков.

— Есть и чеснок, я его подвялила, чтоб не замерз.

Они налили детям в эмалированные кружки, развели сырой водой, а себе не стали разводить, хотя спиртное было сильнее водки. Они встали и, перекрестившись на угол, молча помянули Лизу.

Отец настелил в комнате на нары соломы, нары оказались широкие, раньше здесь гуртовалась семья. А себе и Мазурке отец постелил в кухоньке прямо на полу. Они задули свечу. Отец в потемках пошел к мальчикам и дочке и потискал их. Они послушали, как гуляет непогода за окном, но веселый треск в печи забивал пение пурги. Они враз провалились в блаженный колодец сна. Но скоро Гоша растолкал брата и сестренку, прикрыв им ладошкой теплые губы: на кухне, задавливая стон, плакали тятя и маменька. Но Мазурка опомнилась и сказала: «Ленюшка, давай еще по глоточку примем, за все хорошее, что было и что еще будет у нас и у наших деточек». И тогда мальчики и Аня снова уснули счастливым сном. Более таких счастливых снов у них, кажется, не было.

Это после, после той жизни — и в жизни этой, однажды, таким же счастливым сном забылся, вернувшись в Урийск с политзоны, последний их сын, Василий, названный в честь деда.

Но не в той — а в этой жизни Ленюшку, Мазурку и детей их старших смела ледяная метель в то заснеженное неудобье, где им всем довелось сойтись уже навеки. Но Мазурка верховодила и верховодит и там.

По лебедям

Дедушка мой корня невидного, в станичные атаманы по косорукости (одна рука у него была длинней другой) не избирался, а писарем при атамане служил, грамотным, стало быть слыл. Но после вседержавной нашей революции грамота ему не потребовалось, выгоднее было показать себя затюканным. Дед уехал из станицы в Урийск, нанялся мастером на двухпоставную мельницу, уехало с ним и прозвище его — Косорук. Скоро вся округа стала съезжаться только к деду, соответственно и навар пошел. Зажил он вполне исправно, отделил моего отца. Стал я гостевать у деда. Городские власти сподобились и построили мелькомбинат, позвали деда, и там Косорук молол первосортно.

На мелькомбинате мужиков и баб собралось немало. Когда грянула великая, многострадальная, и вымела как веником всех мужиков подчистую, дед, будучи наиглавнейшим, поначалу не тужил. Он знал, русская баба — двужилная, нагрузи воз на нее, она потянет, с одышкой, но потянет. И вправду, тридцать солдаток управлялись лихо, бедовали, конечно, потому что режим устрожился вконец, щепотку овса не возьми в карман. Пришлось перейти к испытанному огороду, огородто и выручал.